

Места, которых нет

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Дважды убитый, дважды восставший



Сергей Диковинный

Сергей Диковинный

Храм Христа Спасителя

«Автор»

2026

Диковинный С. В.

Храм Христа Спасителя / С. В. Диковинный — «Автор», 2026

В 1812 году император Александр Первый дал обет построить храм в благодарность за спасение России. Обет должен был быть исполнен за несколько лет — его исполняли семьдесят один год. За это время сменились три императора, четыре архитектора, два проекта и одна эпоха. Храм успели заложить на Воробьёвых горах и разобрать до фундамента. Успели построить у Каменного моста и освятить через сорок четыре года после закладки. Успели прожить в нём сорок восемь лет — и взорвать его за три взрыва. А потом — то, чего не было ни у одного другого храма в мире. Мрамор ушёл в метро. Гранит — в гостиницу. Колокол — на речной вокзал. Колонны алтаря — в университет. Щебёнка с именами воинов — на дорожки парка. И всё-таки храм вернулся. Книга о том, как это было.

© Диковинный С. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Обет	5
Глава 2. Витберг	7
Глава 3. Тон	10
Глава 4. Освящение	13
Глава 5. Приговор	16
Глава 6. Рассеяние	19
Глава 7. Лужа	23
Эпилог. Возвращение	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Храм Христа Спасителя

Глава 1. Обет



Двадцать пятого декабря тысяча восемьсот двенадцатого года, в самый день Рождества Христова по старому стилю, последние солдаты Великой армии переходили по льду реку Неман. Лёд был крепок, но тонок у берега, и несколько повозок провалились, и никто не стал их вытаскивать. Французы уходили молча, не оборачиваясь. За их спинами оставалась страна, которую они не смогли покорить.

В тот же день в Петербурге император Александр Павлович подписал Высочайший Манифест. Слова в нём были простые и точные, как бывают просты и точны слова, сказанные в минуту, когда опасность уже миновала, но память о ней ещё горит.

«В ознаменование благодарности к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели», — писал государь, — «да будет воздвигнут в Москве храм во имя Христа Спасителя».

Больше в тот день ничего не произошло. Ни закладки, ни крестного хода, ни колокольного звона. Только подпись на бумаге. Но с этой подписи начался отсчёт семидесяти лет, в течение которых Россия строила, откладывала, начинала заново и всё-таки построила.

Манифест читали в церквях по всей стране. В Москве его слушали на молебнах в Успенском соборе, в приходах Замоскворечья, в маленьких деревянных церквях на окраинах, в монастырях, в богадельнях. Читали и в деревнях. Дьячки читали медленно, по слогам, потому что в словах было что-то такое, что не хотелось проглатывать.

Александрю было тогда тридцать пять лет. Он только что пережил самое страшное, что может пережить государь, — потерю своей столицы. Москва горела в сентябре, Наполеон стоял в Кремле, армия отступала, двор готовился к эвакуации в Казань. И вот теперь — декабрь, снег, лёд на Немане, и последний французский солдат, уходящий на запад, в свою зиму, в свою страну, куда ему и следовало уйти с самого начала.

Шестьсот тысяч человек вошли в Россию летом. Ушло — несколько тысяч. Остальных поглотили Бородино, Малоярославец, морозы, голод, казачьи разъезды, тиф, отчаяние. Россия противопоставила этой лавине меньше двухсот тысяч своих солдат и офицеров. Математика не сходилась. Война была проиграна по всем правилам военного искусства — и выиграна.

Это и называлось чудом. Не в том смысле, в каком об этом говорят в церкви, хотя и в церкви тоже. Просто в жизни иногда происходит то, что нельзя объяснить. И когда это происходит, человек чувствует нужду как-то ответить.

Храм был ответом.

Не памятником победе — памятников победе в России было и без того много. Не усыпальницей героев — хотя именно об этом думал первый архитектор. Храм был благодарностью за то, что не случилось. За то, что Москва осталась Москвой, Россия — Россией, а сам Александр — русским императором, а не пленником в Париже, куда его так хотели отвезти.

Об этом в манифесте было сказано прямо: не «в честь победы», а «в ознаменование благодарности к Промыслу Божию». Победа была у Промысла, а не у императора. Император только благодарил.

По всей России начали собирать деньги. Кружки стояли в церквях, на папертях, у свечных ящиков. На них была надпись: «На построение храма Спасителю Христу в Москве». Копейки, гривенники, рубли — от купцов, мещан, крестьян, чиновников, офицеров, вдов, сирот. Деньги шли медленно, но шли. Храм, который задумывался как памятник чуду, оказался делом всенародным, потому что всякий человек в России понимал, о чём речь: он тоже выжил.

Собирали не на здание. Собирали на благодарность.

Первое время никто не знал, где храм поставить. Москва была сожжена — в ней осталась едва десятая часть домов, но Кремль стоял. Кремль сгоревший, но стоящий. Москва начиналась заново.

И место для храма сначала искали не в центре.

О том, что было дальше, о том, как молодой шведский архитектор мечтал воздвигнуть на Воробьёвых горах здание из трёх храмов одно над другим, как император сказал ему слова, которые переживут их обоих, как самого архитектора обвинили в казнокрадстве и сослали в Вятку, о том, как прах первого замысла лёг фундаментом для второго, — об этом речь впереди.

Сейчас важно одно: когда последний наполеоновский солдат перешёл Неман, в этот самый день кто-то в Петербурге поставил подпись. И следующий храм — тот, который мы видим сегодня, — стоит ровно там, куда пришли через семьдесят один год от этой подписи.

Никто из подписывавших тогда не дожил до освящения. Император умер в Таганроге в двадцать пятом, не дождавшись даже закладки второго проекта. Но подпись осталась. И она сработала.

Глава 2. Витберг



Александр Лаврентьевич Витберг родился в Швеции, в Стокгольме, в семье мелкого чиновника, и при рождении звался Карл Магнус. Мать его была русская, отец — швед. Семья рано переехала в Петербург, где мальчик поступил в Академию художеств, окончил её с малой золотой медалью, а потом, в двадцать три года, принял православие и имя в честь императора — того самого, который через несколько лет станет его покровителем.

Он был молод, талантлив и совершенно никому не известен. У него за плечами были несколько портретов, несколько рисунков, поездка в Италию и живописная мастерская, в которой он сам не знал, чем будет заниматься. Так было до того дня, когда император объявил конкурс на проект храма Христа Спасителя.

Витбергу было двадцать девять лет. Он не строил ни одного здания в своей жизни.

Он сел и нарисовал храм.

Никто его об этом особенно не просил. Конкурс собрал десятки опытных архитекторов, именитых, известных, с репутацией и с постройками. Витберг отправил свой проект по почте, вместе со всеми, и почти сразу забыл о нём. Так иногда делают люди, которые не рассчитывают на успех и которым важнее сам факт участия, чем результат.

Проект произвёл на Александра Павловича такое впечатление, что государь, разбирая бумаги, несколько раз возвращался к чертежам. Архитектор предлагал не просто храм. Он предлагал здание из трёх храмов, стоящих один над другим, — так древние строители строили башни, но Витберг строил башню наоборот, вглубь, вниз.

Нижний храм должен был стать усыпальницей. Там лежали бы тела воинов, павших в Отечественной войне. Пятьсот тысяч человек, чьи могилы остались на полях от Немана до Москвы и от Москвы до Парижа, — этим людям Витберг хотел дать одну общую могилу. Храм памяти. Вечная панихида, идущая днём и ночью, во все времена, покуда стоит Россия.

Средний храм был бы собственно храмом — местом богослужения. Верхний — небесным, открытым в свет.

Ничего подобного в русском зодчестве не было. Ничего подобного не было и в европейском. Император смотрел на чертежи и видел не архитектуру, а идею. Идея была такая: не

памятник победе, а могила. Не торжество, а молитва. Не живущим во славу, а мёртвым во упокой.

Витберг сформулировал это сам, в короткой записке, приложенной к проекту. Он писал: «Храм сей будет местом, куда будут приходить с благодарностью те, кто остался жив, и местом, куда придут с молитвой те, чьи сыновья, мужья и братья сложили свою жизнь за Отечество».

Александр Павлович вызвал его во дворец. Молодой человек, одетый скромно, вошёл в кабинет императора, плохо понимая, зачем его позвали. Император встретил его стоя. Он развернул перед ним проект и сказал фразу, которую потом будут повторять биографы Витберга.

«Вы заставили говорить камни».

Витберг не сразу понял, что ему говорят о его собственных чертежах. Потом понял. Император имел в виду не стены и не купола, не колонны и не карнизы. Император имел в виду, что этот храм — не здание, а речь. Камни в нём будут говорить о том, что было. О том, чего больше нет. О тех, кто уже не вернётся.

Витберга назначили главным архитектором. Он получил чины, звание, содержание, право распоряжаться казёнными суммами. Император стал его восприемником при православии в своё время, а теперь был его покровителем в делах. Александр Павлович был человеком сентиментальным в лучшем смысле этого слова. Он умел влюбляться в людей и в идеи. Витберг был одной из таких идей.

Место выбрали Воробьёвы горы. Это была действительно корона Москвы — высокий берег, откуда в ясный день видна вся столица, вся её панорама, все купола и колокольни, все сорок сороков, стоящие внизу. Храм с Воробьёвых гор был бы виден из любой точки Москвы и с любой дороги, которая ведёт к Москве.

Один взгляд — и вся Москва. Один взгляд — и весь храм над ней.

Витберг был счастлив. Он жил в те годы на Воробьёвых горах, в маленьком доме, поставленном тут же, неподалёку от стройки, и каждый день поднимался на высокий берег, чтобы ещё и ещё раз посмотреть на Москву и увидеть в воздухе свой собственный храм, стоящий здесь, над рекой, над городом, над всей жизнью.

Закладка состоялась двенадцатого октября тысяча восемьсот семнадцатого года. Дата была выбрана со значением. Пять лет назад, ровно в этот день, французы оставили Москву. Входили они в неё по Смоленской дороге, а выходили по Калужской. Витберг предложил поставить храм на самой линии между этими двумя дорогами, как бы примиряя их между собой и замыкая круг.

Торжество было грандиозное. Съехался двор, приехали митрополиты, собралось множество народу. Государь был тут же. Он поднимался на Воробьёвы горы, стоял среди сановников, слушал молебен, присутствовал при закладке первого камня. Начали копать фундамент.

После закладки земля Воробьёвых гор оказалась не такой прочной, как о ней думали. Берег Москвы-реки осыпался. Под верхним слоем почвы шли плывуны, грунт полз, вода подмывала основание. То, что было рассчитано на века, не выдерживало собственного веса.

Работы замедлились. Строители боролись с почвой и не могли её победить. Деньги уходили, камни в землю шли, но земля не держала камней. Витберг по несколько раз в неделю бывал на стройке, спускался в котлован, смотрел на то, как вода подступает к подземным галереям, и в конце концов понял, что его храм здесь не встанет.

Он боролся ещё несколько лет. Писал письма, объяснял, доказывал. Уже в двадцать пятом году Витберг понял, что решение придётся менять. Но менять его пришлось не ему.

Девятнадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать пятого года император Александр Павлович умер в Таганроге. Внезапно, далеко от столицы, вдали от всех, кто был ему дорог. Тело привезли в Петербург долго, везли почти полтора месяца, и по всей дороге стояли люди.

Со смертью Александра Павловича кончилась и судьба Витберга. Новый государь, Николай Павлович, не любил ни мистики, ни сентиментальности, ни Витберга. Император Алек-

сандр относился к архитектору как к другу. Император Николай относился к нему как к чиновнику, чьи дела надо проверить.

Проверили. Нашли недостачи. Кто-то из подрядчиков украл деньги, кто-то из казначейства их задержал, кто-то просто не отчитался в срок. Итог был один — Витберга обвинили в казнокрадстве. Он не крал. Он был неопытен в делах и доверял тем, кто крал. Но обвинение было предъявлено именно ему.

Его судили. Он был сослан. Не в Сибирь, но почти в ссылку — в Вятку, где провёл несколько лет, занимаясь живописью и горько размышляя о своей несостоявшейся жизни. Он умер в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году в Петербурге, уже стариком, оставив несколько картин и одну мечту, которую никому не удалось построить.

Храм не построили ни на Воробьёвых горах, ни вообще где бы то ни было. Проект отменили. Воробьёвы горы объявили непригодными для строительства. Официально назвали три причины: плывуны, отдалённость от центра и опасение, что пустующее вдали от города здание не будет посещаться. Были и неофициальные обстоятельства — императору Николаю не нравился мистический дух проекта, слишком близкий мировоззрению Александра I и чуждый самому Николаю.

Так прошло четырнадцать лет. Витберг был забыт, проект сдан в архив, а подписка на храм продолжалась, потому что кружки с надписью «На построение храма Спасителю Христу в Москве» никто не отменял.

Странная оказалась судьба у этого храма. Первый его проект был задуман как место вечной памяти, а первый его архитектор сам стал забытым. Первый храм хотели поставить на самом высоком месте Москвы, а вышло так, что на этом самом месте в конце концов поставили здание, у которого нет ничего общего ни с храмом, ни с памятью, ни с молитвой — и всё-таки три колонны из храма Христа Спасителя стоят сейчас именно на Воробьёвых горах, в главном здании Московского университета, которое возвели здесь в пятидесятые годы двадцатого века.

Витберг об этом не узнал. Он умер, не зная, что его храм не построят ни при его жизни, ни через сто лет в том виде, в каком он его задумал. Он умер, не зная, что его колонны всё-таки поднимутся над тем самым берегом, над той самой рекой, над той самой Москвой, которую он видел из окна своего дома.

Между закладкой на Воробьёвых горах и освящением того храма, который в конце концов был построен, прошло шестьдесят шесть лет.

Витберг успел пережить все эти годы внутри одного имени — своего собственного.

Он умер в пятьдесят пятом году, пятидесяти семи лет от роду, от болезни сердца, в своей постели, в квартире на Васильевском острове. Восприемник его, император Александр Павлович, скончался тридцатью годами раньше. Современников, которые помнили бы его молодым и счастливым, почти не осталось.

Существенно другое. За тринадцать лет до смерти Витберга, в тридцать девятом году, император Николай Павлович, не любивший ни мистики, ни сентиментальности, ни имени Витберга, всё-таки исполнил обет брата. Не отменил. Не забыл. Просто исполнил иначе.

Обет, оставленный одним человеком, был исполнен другим. Мечта, нарисованная шведским мальчиком из Петербурга, была осуществлена русским архитектором из Москвы. Храм, которого не было, стал храмом, который есть.

Но это случилось уже без Витберга.

Глава 3. Тон

Глава 3. Тон

Константину Андреевичу Тону в тридцать девятом году было сорок четыре года. Он был в расцвете сил, в чине, в звании, с репутацией и с портфелем готовых проектов. За ним стояли Московский и Николаевский вокзалы в двух столицах — близнецы, поставленные друг против друга, как две сестры. За ним стояла набережная в Петербурге, со сфинксами, привезёнными из Египта, — он поставил их перед Академией художеств так, что они смотрят в воду и в воду же отражаются. За ним стояла Оружейная палата в Кремле. За ним стояло многое, о чём не помнили потомки, но что стояло в те годы на самых видных местах обеих столиц.



Николай Павлович вызвал его и объяснил коротко: обет брата не выполнен. Храм не построен. Время уходит. Надо строить.

Тон не спорил. Тон был человеком другого склада, чем Витберг, — не мечтатель, а строитель. Он умел работать с подрядчиками, умел считать сметы, умел спорить с казной так, чтобы казна не сердилась. Идея у него была простая и ясная. Он не любил мистического символизма, не любил загадочных чертежей, не любил объяснять замысел словами. Он строил.

Место для нового храма выбрали не Воробьёвы горы. Государь утвердил холм рядом с Большим Каменным мостом — на берегу Москвы-реки, в самом сердце города, в двух шагах от Кремля.

Причина была простая. С Воробьёвых гор храм был бы виден, но далеко от людей. А с этого холма он был бы виден из любого конца Москвы и при этом стоял бы там, где живут, ходят, ездят, торгуют, молятся. Витберг хотел храм-мечту. Тон поставил храм-свидетельство. Один — на высоком берегу, другой — на проезжей площади.

На холме у Каменного моста стоял Алексеевский женский монастырь. Он был старый, небогатый, но живой. В нём жили монахини, шла служба, стояли иконы, лежали могилы. Монастырь пришлось перенести.

Его перенесли в Красное село, к северо-востоку от центра, туда, где сейчас станция метро «Красносельская». Перенесли не спешно, не грубо — с иконами и утварью, с колоколами, с монахинями, с могилами. Новое место было просторнее и суше. Монастырь стоит там и сегодня.

Но народная память сохранила другое.

Легенда, не подтверждаемая ни одним документом, рассказывает, что игуменья Алексеевского монастыря не хотела переезжать. Будто бы привязала себя цепями к старому дубу посреди монастырского двора, чтобы её не смогли сдвинуть с места. Будто бы приезжал сам Николай Павлович, уговаривал её лично, долго и без успеха. И будто бы в конце разговора игуменья сказала государю слова, которые потом повторяли десятилетиями.

«Государь, получишь здесь лужу».

Никаких исторических подтверждений у этой истории нет. Никакого проклятия документально не существует. Монахини перенесли тихо, игуменья смирилась, дуб спилили, а цепи — если они вообще были — никто не видел ни до, ни после. Легенда возникла позже, когда появилось то, что нужно было объяснить. То есть когда на месте храма действительно появилась лужа.

Но тогда, в тридцать девятом году, никто о луже не думал. Думали о храме.

Константину Андреевичу Тону в тридцать девятом году было сорок четыре года. Он был в расцвете сил, в чине, в звании, с репутацией и с портфелем готовых проектов. За ним стояли Московский и Николаевский вокзалы в двух столицах — близнецы, поставленные друг против друга, как две сестры. За ним стояла набережная в Петербурге, со сфинксами, привезёнными из Египта, — он поставил их перед Академией художеств так, что они смотрят в воду и в воду же отражаются. За ним стояла Оружейная палата в Кремле. За ним стояло многое, о чём не помнили потомки, но что стояло в те годы на самых видных местах обеих столиц.

Николай Павлович вызвал его и объяснил коротко: обет брата не выполнен. Храм не построен. Время уходит. Надо строить.

Тон не спорил. Тон был человеком другого склада, чем Витберг, — не мечтатель, а строитель. Он умел работать с подрядчиками, умел считать сметы, умел спорить с казной так, чтобы казна не сердилась. Идеи у него были простые и ясные. Он не любил мистического символизма, не любил загадочных чертежей, не любил объяснять замысел словами. Он строил.

Место для нового храма выбрали не Воробьёвы горы. Государь утвердил холм рядом с Большим Каменным мостом — на берегу Москвы-реки, в самом сердце города, в двух шагах от Кремля.

Причина была простая. С Воробьёвых гор храм был бы виден, но далеко от людей. А с этого холма он был бы виден из любого конца Москвы и при этом стоял бы там, где живут, ходят, ездят, торгуют, молятся. Витберг хотел храм-мечту. Тон поставил храм-свидетельство. Один — на высоком берегу, другой — на проезжей площади.

На холме у Каменного моста стоял Алексеевский женский монастырь. Он был старый, небогатый, но живой. В нём жили монахини, шла служба, стояли иконы, лежали могилы. Монастырь пришлось перенести.

Его перенесли в Красное село, к северо-востоку от центра, туда, где сейчас станция метро «Красносельская». Перенесли не спешно, не грубо — с иконами и утварью, с колоколами, с монахинями, с могилами. Новое место было просторнее и суше. Монастырь стоит там и сегодня.

Но народная память сохранила другое.

Легенда, не подтверждаемая ни одним документом, рассказывает, что игуменья Алексеевского монастыря не хотела переезжать. Будто бы привязала себя цепями к старому дубу посреди монастырского двора, чтобы её не смогли сдвинуть с места. Будто бы приезжал сам Николай Павлович, уговаривал её лично, долго и без успеха. И будто бы в конце разговора игуменья сказала государю слова, которые потом повторяли десятилетиями.

«Государь, получишь здесь лужу».

Никаких исторических подтверждений у этой истории нет. Никакого проклятья документально не существует. Монахинь перенесли тихо, игуменья смирилась, дуб спилили, а цепи — если они вообще были — никто не видел ни до, ни после. Легенда возникла позже, когда появилось то, что нужно было объяснить. То есть когда на месте храма действительно появилась лужа.

Но тогда, в тридцать девятом году, никто о луже не думал. Думали о храме.

Закладка состоялась десятого сентября тридцать девятого года. Место было очищено, старые монастырские постройки частью снесены, частью разобраны по брёвнам и перевезены в Красное село. На высоком берегу Москвы-реки расчистили площадку, поставили камень, собрали крестный ход.

Закладку совершил сам святитель Филарет, митрополит Московский. Ему было восемьдесят семь лет. Он был стар, слаб, плохо видел, передвигался с трудом, но держался прямо и говорил твёрдо. Он дожил до этой закладки, потому что его самого призвали сюда ещё в двадцатых годах, когда обсуждался первый проект, и он тогда же дал благословение. Дождался второго. Дожил.

Тон не присутствовал на закладке как главное лицо. Он стоял в стороне, в толпе, в скромном сюртуке, среди архитекторов и подрядчиков. Государь был рядом с митрополитом, а не с ним. Так было принято. Так было нужно. Закладку совершает Церковь, а не строитель.

Тон был строителем. Он строил.

Деньги на новый храм решили собирать по-старому. По всем церквям России снова поставили кружки с надписью «На построение храма Спасителю Христу в Москве». Копейки, гривенники, рубли — от купцов, мещан, крестьян, чиновников, офицеров, вдов, сирот. Так же, как в двенадцатом году. Так же, как двадцать лет назад, когда собирали на проект Витберга. Пожертвования шли медленно, но шли. И шли годами — все сорок четыре года, что строили этот храм.

Ни одна казна не выдержала бы такого расхода. А Россия выдержала. Потому что это был не расход, а благодарность.

Строили долго. Дольше, чем строили в те годы всё остальное. Сорок четыре года — это жизнь целого поколения. Люди, которые клали первый камень, не увидели второго яруса. Люди, которые поднимали первый ярус, не увидели куполов. Люди, которые золотили купола, не увидели освящения. Храм строился не для себя, а для тех, кто придёт после. Только так и строятся настоящие храмы.

Шли годы. Храм поднимался. Его золотые купола были видны за десятки вёрст от Москвы — с дальних дорог, с поездов, с речных судов. Он поистине царствовал над столицей. Его было видно оттуда, откуда не было видно Кремля.

К шестидесятым годам наружные леса сняли, и храм впервые предстал перед Москвой во всём своём величии. Москва была уже другой — с новыми вокзалами, с новыми улицами, с новыми заводами. Храм Тона оказался не современником этой Москвы, а её вечным спутником. Он стоял над ней, как стоял бы Витберг над ней с Воробьёвых гор, — но стоял ближе, доступнее, здесь, рядом с людьми.

Внутри работы продолжались ещё двадцать лет. Внутренние росписи, иконостас, мрамор для стен и полов, бронза, резьба, убранство. С назначением храма определились сразу — кафедральный собор. Значит, всё должно было быть достойно кафедрального собора.

Расписывали его лучшие художники России. Василий Суриков, автор «Утра стрелецкой казни» и «Боярыни Морозовой», написал для храма несколько больших композиций. Фёдор Бруни, ректор Академии художеств, известный своим «Медным змием», — свои. Иван Крамской, автор «Неизвестной» и «Христа в пустыне», — свои. Василий Верещагин, знаменитый баталист, — свои. Много было и других, не столь знаменитых, но не менее мастеровитых.

Скульпторами фасадных работ выступили барон Пётр Клодт, автор коней на Аничковом мосту, Александр Логановский, Николай Рамазанов. Их работами храм был украшен снаружи — горельефами и барельефами на темы Ветхого Завета и русской истории. Каждый фасад имел свою программу, каждый рельеф был на своём месте, каждая фигура имела своё значение.

Тематику росписей главного купола, его пояса, малых сводов и иконостаса утверждал лично святитель Филарет. Он уже был очень стар, но продолжал работать. Ему приносили эскизы, он их рассматривал, что-то принимал, что-то отклонял. Филарет был последним звеном, которое связывало новый храм с той духовной традицией, к которой восходил сам обет двенадцатого года. Он сам читал тот манифест, когда был ещё молодым иеромонахом. Он сам благословлял первый проект. Он сам заложил второй. Он сам утвердил иконостас. Он умер в шестьдесят седьмом году, за шестнадцать лет до освящения.

Храм продолжали строить без него. Тон умер раньше — в восемьдесят первом году, за два года до освящения. Его тоже не будет на торжестве. Оба главных человека первого и второго проекта не дожили до дня, когда то, что они задумали и строили, стало наконец храмом.

Так бывает. Храм строят не для тех, кто его строит.

К восемьдесят первому году внутренние работы были закончены. Заканчивали набережную и площадь перед храмом. Оставалось последнее — освятить.

Освящение назначили на день Вознесения Господня по православному календарю. Восьмое июня по новому стилю, двадцать шестое мая — по старому. Это был день восемьдесят третьего года. Приурочили его к коронации нового императора — Александра Третьего.

Всё было связано со всем. Манифест об основании храма подписан в день Рождества Христова. Освящение храма приурочено ко дню Вознесения. Между этими двумя днями — вся жизнь России за семьдесят лет. Рождество, Вознесение. Начало и конец. Спасение и слава.

Об этом освящении и о том, что произошло в тот день, — в следующей главе.

Глава 4. Освящение



Двадцать шестого мая восемьдесят третьего года, в день Вознесения Господня, Москва встала рано.

К шести утра набережная была полна. По обе стороны Москвы-реки стояли толпы — на Пречистенской, на Болотной, на Каменном мосту, на самом берегу, где сходили лодки. Погода стояла ясная, тёплая, чуть ветреная. Над рекой плыл колокольный звон — со всех колоколен, к которым храм Христа Спасителя только что добавил свой собственный голос. Храм получил колокола незадолго до освящения, и этот звон был первым в его жизни большим звоном.

К девяти часам на площади перед храмом уже не было места. Народ стоял не только вдоль стен, но и на крышах ближайших домов, и на балконах, и на подоконниках. Кто-то приехал из Замоскворечья пешком, кто-то с дальних окраин, кто-то из-за городской черты. Среди толпы сновали торговцы квасом, сбитнем, пряниками. Полиция стояла через каждые двадцать шагов и уже не разгоняла никого, потому что разгонять было бесполезно.

Освящение храма, к которому Россия шла семьдесят лет, — не то событие, которое можно провести в узком кругу.

В десять часов к храму подошёл крестный ход из Кремля. Шли митрополиты, епископы, архимандриты, игумены, протоиереи, дьяконы, иподиаконы — вся церковная иерархия в парадных облачениях, с иконами, с хоругвями, с крестами, с пением. Шли долго, потому что расстояние от Успенского собора до храма было неблизкое, а ход двигался медленно — по чину.

За церковным ходом шёл государь. Александр Третий был человеком грузным, тяжёлым, неторопливым. Он только недавно взошёл на престол — в восемьдесят первом, после убийства отца. Он нёс на себе всю тяжесть и всего государства, и своей собственной семьи, и того дня, который должен был стать днём его коронации. Освящение храма приурочили к коронационным торжествам — так решили, чтобы два события слились в одно и чтобы память двенадцатого года соединилась с памятью о начале нового царствования.

За государем шёл двор. Министры, сановники, генералы, сенаторы, придворные чины, статс-дамы, фрейлины — все в парадных мундирах и платьях. Европейские дипломаты в цилиндрах и фраках. Русские купцы в длиннополых сюртуках. Нижегородские, московские,

петербургские, сибирские — все, кто дал на этот храм деньги, и все, кто не дал, но имел право прийти.

В северном углу храма, у самой стены, стояли ветераны. Это была самая старая и самая важная часть приглашённых. Их было немного — тех, кто семьдесят лет назад сражался при Бородине, при Малоярославце, при Тарутине, при Березине, шёл с Кутузовым до Парижа, шёл с Багратионом, шёл с Барклаем, шёл с самим императором Александром Павловичем, тем самым, что подписал манифест. Им было уже по восемьдесят, по девяносто, по сто лет. Они стояли на подкошенных ногах, опираясь на палки. Седые, белые как лунь, в выцветших старых мундирах, на которых уже не читались мундирные цвета, но на груди у каждого был надет свой Георгиевский крест — тот, что они получили тогда, много десятилетий назад, из рук самого императора.

Они были живыми ровесниками того дня, из которого вырос этот храм. В тот декабрьский день, когда французы перешли Неман, им было по десять, по пятнадцать, по двадцать лет. Они уходили из дома мальчиками и возвращались мужчинами. У многих из них не осталось ни могил отцов, ни могил братьев — только память, разбросанная по полям от Москвы до Парижа.

Теперь эта память стояла на площади в виде храма.

Государь подошёл к северо-западному углу храма — туда, где начиналось освящение. Встретил его митрополит Московский, Иоанникий. Он держал в руках кропило и святую воду. Началось молебное пение. Хор пел мощно, многочисленно, с новыми голосами. Пение шло из самого храма и выходило на площадь, и площадь подхватывала его, и в этом соединении было что-то, что словами не передаётся.

Обряд освящения храма длится долго. Освящают престол, освящают иконостас, освящают стены и купола, обходят храм с крестным ходом, кропят святой водой, читают молитвы. Всё это делается по чину, установленному ещё с древних времён, и не меняется много веков. Когда ты стоишь внутри этого чина, ты чувствуешь не сам обряд, а его непрерывность. Это происходит так же, как происходило тысячу лет назад, и будет происходить так же, когда тебя уже не будет.

Внутри храма было огромно и светло. Внутреннее убранство закончили два года назад — всё, что веками собирали по крупицам, было тут: золочёный иконостас, огромный, в четыре яруса, с иконами лучших мастеров. Росписи Сурикова, Бруни, Крамского, Верещагина. Мраморные стены, мраморный пол, мраморные скамьи. Свет, падающий сверху, из-под купола, через окна купольного пояса. Воздух, не похожий на воздух ни одного другого места в Москве.

Освящение шло в храме, и снаружи шло своё — на площади, на набережной, на мосту. Толпа стояла и молилась вполголоса. Кто-то крестился. Кто-то плакал. Кто-то просто смотрел.

После освящения престола началась первая литургия. Её служили несколько архиереев, митрополитов и епископов. Храм имел статус кафедрального собора с самого дня освящения. Его причт приравнивали к духовенству столичного Исаакиевского собора. Кафедральным собором Москвы он останется до самого своего разрушения — до тридцать первого года. Ни один другой храм Москвы за эти годы этого статуса у него не отнял.

Литургия шла долго. Государь стоял всю её. Ветераны стояли всю её тоже — им было предложено сесть, но они отказались. Они семьдесят лет ждали этого дня и не собирались пропустить его в сидячем положении.

После литургии был крестный ход вокруг храма. Впереди несли иконы и хоругви, за ними шли архиереи в парадных облачениях, за архиереями — государь. Пение не прекращалось ни на секунду. Ветераны шли в самом конце крестного хода, поддерживая друг друга. Один из них — высокий, с длинной белой бородой, в мундире старого образца и с двумя Георгиевскими крестами — шёл прямо, не опираясь на палку. Ему было девяносто семь лет.

В конце крестного хода, когда обошли храм и вернулись на площадь, наступил самый важный момент дня. Митрополит Иоанникий повернулся к ветеранам, и все, кто был на площади, повернулись вместе с ним. Государь подошёл к северному углу, где они стояли, и что-то им сказал. Слов никто не расслышал, но все увидели, как он поклонился им — низко, всей тяжёлой фигурой, чего при этих торжествах он не делал ни перед кем.

Ветераны ответили поклоном.

Это был короткий обмен. Ни речей, ни оркестров, ни оваций. Государь, который через несколько дней должен был короноваться в Кремле, поклонился ветеранам, которые сражались за Россию, когда России было нечего им дать, кроме этой самой войны.

После этого начался праздник. Он шёл до вечера. Играли духовые оркестры. Певчие пели на площадях. На набережной расставили столы с угощением. Народ шёл внутри храма — не в порядке, а в свободном течении: заходили, осматривали, выходили. Москва впервые увидела свой храм не снаружи, а внутри.

И в тот же день, впервые, в главном притворе храма прозвучала увертюра Чайковского «1812 год». Она была написана специально для этого праздника — по заказу самого храма, через несколько месяцев после того, как Петра Ильича пригласили участвовать в торжествах. Увертюра писалась быстро, вдохновенно, с использованием настоящих пушечных залпов в партитуре и колокольного звона в финале. Музыка была о победе, о поле, о тех, кто не вернулся.

Когда увертюра кончилась, наступила тишина, какой не было весь день. Толпа в храме стояла молча. Кто-то из ветеранов, стоявших на том же месте, опустился на колени. Остальные медленно, тяжело, один за другим, тоже опустились.

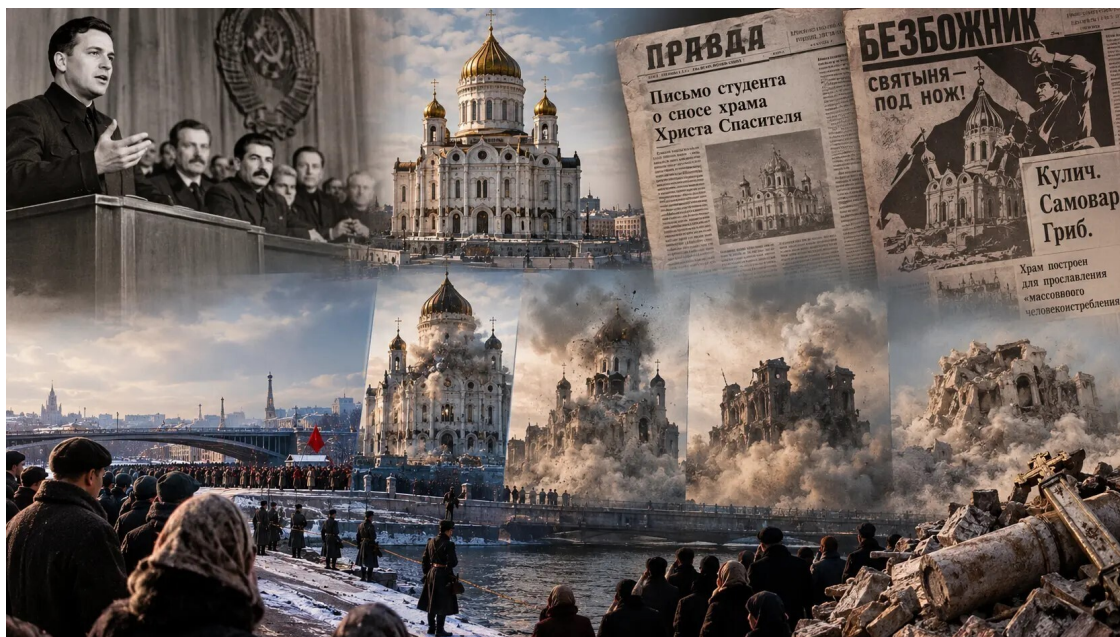
О чём они думали в эту минуту, никто не узнал. Никто их не спросил. Никто не записал. Скорее всего, они вспоминали Бородино.

Освящение храма Христа Спасителя вошло в историю России как одно из самых больших торжеств девятнадцатого века. Тогда казалось, что этот храм будет стоять вечно. Тогда все, кто был на площади и в храме, верили, что этот день не кончится никогда. Тогда ни один человек в этой толпе не мог подумать, что храм проживёт меньше, чем любой из стоявших в нём стариков-ветеранов. Старики прожили ещё несколько лет. Трое из них дожили до столетия Отечественной войны, которое отмечалось в двенадцатом году, и в тот же год храм был кафедральным собором уже почти тридцать лет. Но это уже другая история.

В тот день на площади никто не думал о будущем. В тот день все думали о прошлом, о том, что было, о том, что ушло, о тех, кто не вернулся.

С этого дня началась первая жизнь храма. Она длилась меньше пятидесяти лет.

Глава 5. Приговор



В декабре двадцать второго года в Москве собрался Первый съезд советских депутатов. Съезд провозгласил создание Союза Советских Социалистических Республик. Это было большое событие, о котором потом будут писать учебники. На нём выступали Ленин, Сталин, Каменев, Зиновьев. На нём говорил и Сергей Миронович Киров — молодой тогда партийный руководитель, только что переведённый в Баку из Астрахани, ещё не успевший стать тем Кировым, которого через двенадцать лет убьют в Смольном.

Киров вышел на трибуну и сказал, что на месте старого, буржуазного, помещичьего дворца надо воздвигнуть новый — настоящий, рабочий. Дворец банкиров, помещиков и царей — так он назвал то, что стояло в Москве на самом видном месте, в самом центре, у самой реки. И предложил построить вместо него «новый дворец рабочих и трудящихся крестьян».

Он сказал, что этот дворец должен появиться в Москве, на самой красивой и лучшей площади, и что он должен стать эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе.

Слово «храм» он не произнёс. Он сказал «дворец». Он говорил не о храме Христа Спасителя конкретно, он говорил вообще. Он ещё не знал, какое здание станет местом его будущей стройки. Но с этого дня главный собор России начал существовать в двух режимах: как храм, в котором шла служба, и как объект, который следовало заменить.

Через год и три месяца, в марте двадцать четвёртого, в редакцию газеты «Правда» пришло письмо. Его написал студент Ассоциации новых архитекторов по фамилии Балихин. Молодой человек, вероятно, был искренен — он предлагал снести храм Христа Спасителя, чтобы построить на его месте монументальное здание, которое одновременно служило бы памятником Ленину. Ленин умер двумя месяцами раньше. В стране шла кампания по увековечению его памяти. Студент Балихин попал в момент.

Письмо опубликовали. С этого момента отсчёт времени до уничтожения храма стал отсчитываться официально. Никто уже не мог сказать, что это частное мнение. Его напечатали в главной газете страны.

Дальше развернулась кампания, какой русская архитектурная история не знала ни до, ни после. Во главе её стоял «Союз воинствующих безбожников» — организация, которая к тому

времени насчитывала сотни тысяч членов и выпускала газету «Безбожник». Организация ставила перед собой большую задачу: вытеснить религию из сознания граждан. И в этой кампании храм Христа Спасителя был главной мишенью, потому что он был самым большим храмом России, самым заметным, самым молодым — ему было всего сорок лет. Он был не памятником древности, а живым свидетельством того, что Россия строила храмы и в новое время тоже.

Газеты начали печатать статьи о том, что храм Христа Спасителя не представляет художественной ценности. Что его архитектура бездарна, а украшения провинциальны. Что он «самовар», «кулич», «толстый ядовитый гриб», «питающийся соками Замоскворечья». Что он построен для прославления «массового человекоистребления» — то есть войны двенадцатого года, — в которой «рабочие и крестьяне не проявляли никакого беспримерного усердия».

Слова были подобраны точно. Самым страшным в этой кампании было не то, что храм хотели снести — снести можно было любое здание. Самым страшным было то, что храм хотели сначала вынуть из сознания людей. Уничтожить не здание, а память о нём. Сделать так, чтобы человек, проходящий мимо, не чувствовал в нём ничего.

Кулич. Самовар. Гриб. Сорок лет назад на этом же месте стояли ветераны двенадцатого года и плакали. Теперь газеты писали, что храм построили для прославления того, о чём рабочие и крестьяне никогда особенно не думали.

Работы по разборке храма начались в августе тридцать первого года. Разбирали вручную — такого масштаба здание в СССР ещё никогда не сносили. Сначала снимали кровлю, потом разбирали купола, потом растаскивали стены и своды. Внутри выносили иконостас, снимали росписи, вывозили утварь, выламывали мраморные скамьи и колонны. Учёт того, что вывозится, вёлся, но учёт был неполный. Многие просто исчезало.

К ноябрю остались только стены — огромный остов без куполов, без крестов, без внутренних. Он стоял на холме над Москвой-рекой и был похож на скелет. В Москве уже знали, что будет дальше. В Москве уже знали дату.

Пятое декабря тридцать первого года, полдень.

Утро было холодное, снежное. По Каменному мосту и по набережной прошли милиционеры и оцепили территорию. Вокруг храма встали красноармейцы, оттесняя любопытных за боновой периметр. Толпа стояла поодаль — кто смотрел, кто крестился, кто плакал, кто просто проходил мимо и останавливался на минуту. Официально было объявлено, что территория опасна. Что взрыв — это техническая операция, а не событие.

В полдень раздался первый взрыв.

Он был сделан так, чтобы обрушить купола и верхние ярусы. Загремело, взметнулось облако пыли, храм слегка накренился, но устоял. Ни одна стена не сдвинулась со своего места. Второй взрыв был сделан с расчётом на среднюю часть здания. Храм опять не поддавался. Он продолжал стоять — огромный, изуродованный, но не упавший.

Третий взрыв раздался через несколько минут.

Он был сделан иначе, с учётом того, что не сработало в первых двух. Заложили больше взрывчатки, расположили её по-другому, взяли нижние ярусы. И тогда храм Христа Спасителя, главный собор России, кафедральный собор Москвы, памятник благодарности за чудо двенадцатого года, рухнул.

Он рухнул медленно, огромными кусками, покрывая пылью полгорода. Пыль стояла над Москвой несколько часов. Говорили, что её было видно с Воробьёвых гор — с тех самых гор, где Витберг в семнадцатом году закладывал свой первый храм. С тех самых гор, где сейчас стоит главное здание Московского университета, в котором одну из колонн, оставшихся от взорванного храма, вставили в стену.

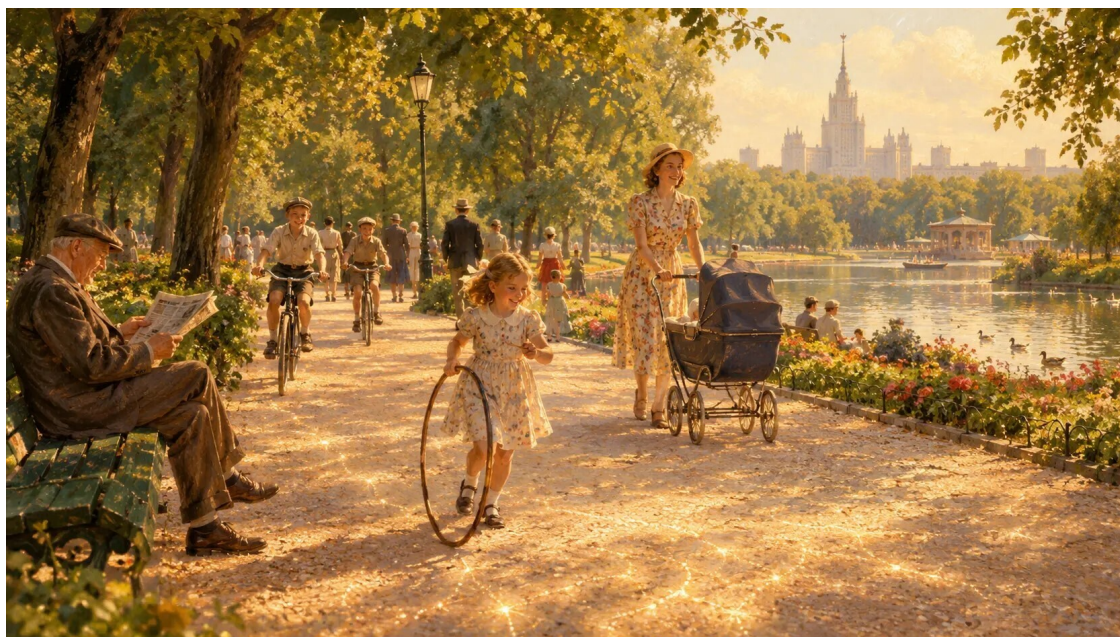
Того, кто стоял в этот день на набережной и смотрел на то, что оставалось от храма, больше в этой истории не будет. Ни Александр Павлович, подписавший манифест, ни Витберг, придумавший первый проект, ни Тон, построивший второй, ни митрополит Филарет, освя-

щавший его, ни ветераны двенадцатого года, стоявшие у северной стены в день освящения, — никого из них не было на этой набережной. Все они давно умерли. Но храм, который строился на их глазах, был снесён при жизни одного поколения с момента его освящения. От освящения до разрушения прошло меньше пятидесяти лет.

Первая жизнь храма закончилась. Начиналась вторая — та, в которой он должен был стать чем-то другим. Или, вернее, тем, что от него останется, — материалом, который надо было распределить по городскому хозяйству.

Как именно распределили этот материал — в следующей главе.

Глава 6. Рассеяние



Никто не знает точно, сколько камня было в храме Христа Спасителя. Считали по-разному, документы сохранились плохо, учёт вели неаккуратно. Но даже по самым скромным подсчётам речь шла о десятках тысяч тонн: мрамор, гранит, песчаник, известняк, бронза, чугун, дерево. Всё это надо было куда-то деть.

Утилизация была поручена городским службам. Разборка продолжалась ещё несколько месяцев после взрывов — вывозили обломки, выпиливали сохранившиеся куски, разбирали уцелевшие фрагменты. Для современников это было хозяйственное дело: город строился, материалы были нужны, а тут как раз освободилось много хорошего камня. Для потомков это стало одним из самых странных и самых значительных эпизодов в московской истории.

Мрамор храма Спасителя — тот самый белый с серыми прожилками мрамор, которым были облицованы стены, колонны, лестницы, — пошёл на отделку московского метро. Метро тогда только строилось, первые станции открывались одна за другой, и каждая новая станция должна была быть дворцом. Дворцы требовали мрамора. Мрамор был под рукой.

Вестибюль станции «Кропоткинская» — в то время она называлась «Дворец Советов» — облицован мрамором храма Христа Спасителя. Пассажир входит в подземный зал, скользит взглядом по стенам, по колоннам, по потолку. Он не задумывается о том, из чего они сделаны. Он просто проходит через них каждый день. Тысячи людей проходят здесь ежедневно — через мрамор, который приходил сюда с Воробьёвых гор, из Петербурга, из Италии, из разных мест, где его покупали для этого храма сто лет назад.

Вестибюль станции «Охотный Ряд» — та же история. Мрамор здесь чуть иной, но того же происхождения. Скамьи в станции «Новокузнецкая» — те же скамьи, что стояли в притворе храма, — стоят до сих пор. На них сидят пассажиры, ждущие поезда. Они не знают, на чём сидят.

Красный гранит, которым были выложены лестницы собора, пошёл на первый этаж гостиницы «Москва». Гостиница строилась в тридцатых годах, и ей нужен был подобающий камень. Из храма Христа Спасителя его было взять быстрее всего. Гранит вывезли на Охотный Ряд, уложили в стены, в простенки, в лестничные марши. И до сих пор — до сегодняшнего дня — в первом этаже гостиницы «Москва» можно видеть камень, который когда-то лежал на ступенях

храма Христа Спасителя. По нему ходят постояльцы гостиницы. По нему ходят туристы, которые приезжают в Москву и фотографируются на Красной площади. По нему ходил каждый, кто входил в гостиницу с самого её открытия.

Колокол храма, один из его главных колоколов, был снят перед взрывом. Его отправили в Химки, где строился Северный речной вокзал. Вокзал был задуман как гигантский портал — ворота Москвы со стороны Волги. Со стороны канала имени Москвы. И на его главной башне, на самом верху, был подвешен колокол храма Христа Спасителя. Он звонит там до сих пор. Когда по каналу подходят теплоходы к Москве, они слышат звон колокола.

Художественное убранство храма — статуи, горельефы, барельефы — было по большей части снято до взрыва. Часть отправили в музеи, часть разошлась по учреждениям, часть погибла. Три больших горельефа — фрагменты статуи Георгия Победоносца, фигура пророчицы Деборы и барельеф с изображением Сергия Радонежского, благословляющего Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, — оказались в Донском монастыре. Туда в те годы свозили то, что казалось заслуживающим сохранения в качестве образца искусства. Горельефы поставили вдоль стены, в антирелигиозном музее, под открытым небом, и оставили там. Они стоят и сегодня. На них следы взрыва: у Георгия Победоносца сбита голова, у Деборы нет одной руки, у Сергия Радонежского повреждено лицо.

Мраморные ступени, которые вели в храм, в частности те, что стояли в вестибюле главного входа, были разобраны и вывезены в Третьяковскую галерею. Там в эти годы шёл капитальный ремонт, и лестница перед гардеробом требовала замены. Ступени сделали из мрамора храма Христа Спасителя. Получилось удобно: мрамор был прочный, отлично выдерживал потоки посетителей, и его было много.

И вот на этих ступенях — на тех самых, вывезенных из главного вестибюля храма, — с обратной стороны, на торцах, сохранились вырезанные надписи. На каждой ступени, если её перевернуть, можно было прочесть имя. Или два. Или фамилию.

Имена героев Отечественной войны двенадцатого года.

Когда храм Христа Спасителя освящали в восемьдесят третьем году, каждая значительная часть его внутреннего убранства получила свою посвящённую память. Ступени главной лестницы были посвящены участникам войны двенадцатого года — тем, кто отдал жизнь за Россию на Бородинском поле, при Малоярославце, при Тарутине, при Березине. Имена тех, кто погиб, были вырезаны прямо на торцах мраморных ступеней. Это была традиция — в русских храмах девятнадцатого века часто делали так. Каждый человек входил в храм Христа Спасителя через мрамор с именами тех, кому храм был посвящён.

В тридцать первом году ступени вывезли и положили в Третьяковской галерее — торцами вверх, чтобы не видно было надписей. Положить их иначе не получалось: ступень имеет определённую форму, её кладут одной стороной вверх. Ступени положили. Надписи исчезли. Это не было специальным решением — просто техническим следствием. Но в то же время это было и символическим решением: имена героев двенадцатого года, вырезанные на мраморе, скрыли от глаз, уложив их в пол так, чтобы никто их больше не видел.

Ступени остались в Третьяковке. По ним ходили посетители, оставляли на них грязь с улицы, ступтали их. Они и не знали, что ходят по именам.

Но самое страшное произошло с мемориальными плитами храма Христа Спасителя.

Мемориальные плиты — это отдельная история. Внутри храма и на его внешних стенах были укреплены мраморные плиты, на которых вырезаны имена тех, кто отдал жизнь за Отечество в войне двенадцатого года. Имена офицеров, имена генералов, имена рядовых, награждённых Георгиевским крестом, имена священников, служивших при полках, имена ополченцев, купцов, дворян, мещан, крестьян. Это была книга памяти, воплощённая в камне: около трёхсот тысяч имён, распределённых по годам войны, по сражениям, по полкам, по родам оружия.

Ни в одном другом храме такого не было. Храм Христа Спасителя был не просто храмом и не просто собором. Он был огромной каменной книгой имён.

Плиты с этими именами не сохранились. Их сняли и раздробили в щебёнку. Щебёнку вывезли и рассыпали по дорожкам парков. Главным образом — по дорожкам Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Она смешалась с обычным щебнем, была использована как дроблёнка, укатана катком. По ней ходили гуляющие. По ней катали коляски. По ней шли — вечером, летом, в снег, в дождь.

Это было не хозяйственное решение. Хозяйственное решение состояло бы в том, чтобы сохранить плиты целиком и использовать их как мрамор — их можно было вывезти куда-нибудь, распилить, применить в строительстве. Это была не утилизация. Это было именно дробление. Сотни тысяч имён, вырезанных в мраморе, дробили в машине для производства щебня. Смешивали с обычным камнем. Раскатывали по земле.

Триста тысяч имён героев Отечественной войны двенадцатого года растворились в парке Горького.

По ним ходят уже девяносто лет. Менялись времена, менялись поколения, менялись дети, которые катались по этим дорожкам на велосипедах и на роликах и не знали, по чему именно они катаются. По этим дорожкам по-прежнему ходят люди. Они стараются идти по асфальту, но иногда сворачивают на гравий, потому что асфальт раскалился на солнце. И тогда они идут по мрамору. По именам. По людям. По воинам двенадцатого года, которые сражались под Бородином и не знали, что их память развезут по парковым дорожкам через сто девятнадцать лет.

На этих дорожках ничего не сообщает о том, что это за щебень. Ни одной таблички. Ни одного знака. Никто не знает.

Всё это было не сразу. Никто не собирал плиты, чтобы с ними что-то специально сделать. Просто так вышло — по небрежности, по инерции, по безразличию. Плиты не помещались в отведённые для них складские помещения, а щебёнка была нужна для городского благоустройства. И мраморные плиты с именами пошли в дробилку, как любой другой камень.

В сорок девятом году к оставшемуся от храма мрамору добавилось ещё одно обстоятельство: часть его была вывезена на строительство МГУ. Главное здание Московского университета на Воробьёвых горах, которое начали строить в конце сороковых, требовало колоссального количества отделочного камня. Один из мраморных порталов храма Христа Спасителя — несколько колонн, в частности колонны из алтаря — был разобран и установлен в холле главного здания МГУ на последнем этаже, под самым шпилем.

Это стоит повторить. Колонны из алтаря храма Христа Спасителя — из того самого нижнего яруса алтарной части, где был главный престол России, — стоят на Воробьёвых горах, в главном здании Московского государственного университета, под самым шпилем. На тех самых Воробьёвых горах, где Витберг в семнадцатом году закладывал свой первый храм и где ничего не получилось. Первое место первого храма. Первый замысел вернулся на Воробьёвы горы. Только не в виде храма, а в виде колонн внутри университета.

Никто из студентов МГУ не знает, что колонны в главном холле — из алтаря храма Христа Спасителя. Они просто отмечают, что холл красивый. Они фотографируются рядом с этими колоннами. Они обсуждают сессию, любовь, дипломы, планы на лето. Колонны — это просто колонны.

Многое другое рассеялось по Москве безымянно. Кусок мрамора в цоколе дома на Арбате. Блок гранита под фундаментом театра. Деревянные элементы — где-то в перекрытиях, где-то в столярных изделиях. Огромное здание растворилось в городе. Оно не исчезло. Оно превратилось в материал. Оно стало частью Москвы — той самой Москвы, для которой оно строилось и в которой оно было снесено.

Каждый раз, когда мы спускаемся в метро на «Кропоткинской», мы идём по нему. Каждый раз, когда мы сидим на скамейке на «Новокузнецкой», мы сидим на нём. Каждый раз, когда мы проходим по первому этажу гостиницы «Москва», мы ступаем по нему. Каждый раз, когда мы входим в Третьяковскую галерею и оставляем пальто в гардеробе, мы поднимаемся по нему. Каждый раз, когда мы гуляем по парку Горького и сходим с асфальта на гравий, мы сходим с асфальта на него.

Камни храма заговорили. Только вместо слов они говорят молчанием. Тысячи людей ходят по ним каждый день и не слышат ничего.

В этом была та особенность, которую никто не предусмотрел. Разрушители хотели стереть храм из памяти. У них не получилось. Камни храма разошлись по городу и остались в нём навсегда. Их нельзя было вытереть из памяти, потому что они были в самом городе. Их нельзя было забыть, потому что они были под ногами. Их нельзя было уничтожить, потому что каждый день на них наступали те самые люди, для которых храм разрушали.

Пятое декабря тридцать первого года уничтожило храм как здание. Оно не уничтожило храм как материал. Он стал городом. Он стал тем, по чему ходит Москва.

И в этом была своя логика. Храм Христа Спасителя был построен всенародным сбором — копейки, гривенники, рубли от купцов и мещан, от крестьян и офицеров, от вдов и сирот. Всей Россией. И разрушенный, он снова вернулся ко всей России — в виде мрамора метро, что везёт рабочих по утрам на заводы; в виде ступеней галереи, что ведут детей на экскурсии; в виде гранита гостиницы, что принимает гостей со всего Союза; в виде щебёнки, что лежит под ногами у людей, пришедших погулять в парк.

Храм Христа Спасителя снова стал всенародным. Только теперь он был под ногами вместо того, чтобы быть над головой.

Глава 7. Лужа



После взрыва на месте храма осталась пустота. Огромная, неровная, засыпанная битым камнем пустота на самом видном месте Москвы. Её надо было чем-то занять. Занять срочно, потому что пустое место в центре столицы — это не просто пустое место, это напоминание о том, чего здесь больше нет.

Пятое декабря тридцать первого года было не только днём взрыва. В тот же день, по воспоминаниям, в Кремле прошло заседание, на котором приняли решение о строительстве здесь нового здания — Дворца Советов. За год до взрыва, в тридцатом году, был объявлен международный конкурс на проект этого дворца. В конкурсе участвовали десятки архитекторов — из Советского Союза, из Германии, из Франции, из Америки. Победил проект Бориса Михайловича Иоффана, выполненный в соавторстве с архитекторами Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом.

Дворец Советов должен был стать главным зданием страны. Не просто большим — самым большим. Высота его вместе со статуей Ленина, которая должна была венчать здание, составляла четыреста двадцать метров — вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Статуя Ленина была задумана как отдельная постройка: голова Ленина размером с пятиэтажный дом, внутри неё — библиотека. Указательный палец длиной четыре метра. Плечи шириной почти тридцать метров.

Ничего подобного не строили ни до, ни после. Дворец Советов должен был стать эмблемой коммунизма во всём мире. Его силуэт должен был видеть каждый, кто входил в Москву с любой стороны. Его изображение должно было висеть в каждой партийной ячейке, печататься в каждой газете, стоять в каждом клубе. Он должен был стоять здесь тысячу лет.

Храм Христа Спасителя был высотой сто четыре метра. Дворец Советов был в четыре раза выше. Храм был построен во имя Богочеловека. Дворец Советов был задуман во имя человекобога. На месте креста — статуя вождя, вскинутая над городом. На месте алтаря — трибуна. На месте вечной памяти — вечная слава. Слава партии. Слава вождю. Слава будущему, которого ещё нет, но которое обязательно наступит, потому что наступить должно.

Ничего из этого не было построено.

В тридцать пятом году вышел новый генеральный план Москвы — так называемый сталинский генплан. Он предусматривал грандиозную реконструкцию центра. Дворец Советов был одной из главных точек этого плана. Вокруг него должно было быть расчищено всё: снести церковь Илии Обдыденного на Остоженке, снести десятки зданий, перестроить набережные, изменить сам рельеф города.

Однако из этого ничего не вышло. Ни церковь Илии Обдыденного, ни десятки других зданий, предусмотренных к сносу в тридцать пятом году, не были снесены. Вместе с храмом Христа Спасителя в начале тридцатых были уничтожены только две маленькие церкви — Похвалы Богородицы и Святодуховская на Гоголевском бульваре. Всё остальное уцелело. Генплан был пересмотрен, отменён, спрятан в архивы. Огромное количество намеченных сносов не состоялось. План остался на бумаге.

Дворец Советов начали строить в тридцать седьмом году. Строительство было объявлено ударной стройкой, оно шло на весь Союз, на него сгоняли рабочих и материалы. Но построили только фундамент и нижние ярусы. Война прервала всё.

Осенью сорок первого года немцы подошли к Москве. Город готовился к обороне. Нужны были противотанковые ежи и надолбы. Металл брали отовсюду, где он был. Взяли и тот, что уже стоял на площадке Дворца Советов. Железные конструкции Дворца Советов пошли на оборону Москвы. Дворец, который должен был свидетельствовать всему миру о торжестве коммунизма и о том, что Запад обречён, пошёл на противотанковые заграждения против этого самого Запада.

Об этом мало кто задумывался. На строительной площадке было не до символов. Немецкие танки были реальнее символов.

После войны строительство Дворца Советов было окончательно заморожено. Денег не было. Вера в близкое торжество коммунизма во всём мире пошла на спад. Ограничились малым — построили Дворец съездов в Кремле, для партийных собраний, и на этом закрыли тему. Фундамент Дворца Советов остался в земле, залитый бетоном, забытый.

На месте храма Христа Спасителя оставалась бетонная плита и яма. В пятидесятых годах, когда Никита Сергеевич Хрущёв развернул кампанию улучшения жизни советских людей, в Москве решили сделать то, чего в городе не хватало. В центре негде было купаться. Реки были отравлены, прудов не хватало, а у людей была потребность в отдыхе. И на месте храма, на месте Дворца Советов, решили построить бассейн.

Открытый бассейн «Москва» был построен в пятьдесят восьмом году по проекту архитектора Дмитрия Николаевича Чечулина. Зимой он был тёплый и курился паром; летом был полон людей, шумов, детских криков. Бассейн был большим, светлым, современным. Здесь проводили соревнования, здесь учили плавать школьников, здесь встречались влюблённые, здесь загорали на бортиках летом. Для москвичей шестидесятых — семидесятых годов бассейн «Москва» был одним из самых любимых мест города.

Про лужайку никто не думал. О том, что на этом месте стоит бассейн, никто не задумывался. Москва родилась заново, и в этой новой Москве бассейн «Москва» был просто бассейном. Здесь смеялись, плавали, загорали, фотографировались, прыгали с вышек. Здесь ничего не говорило о том, что было здесь раньше.

Но легенда о проклятии игуменьи Алексеевского монастыря всплыла именно тут. Легенда — если она вообще существовала раньше — обрела плоть. Храм не построили, но и дворец не построили. Сначала была закладка, потом был взрыв, потом была яма, потом был фундамент, а на фундаменте — лужа. Нет дворца. Нет храма. Есть бассейн. Есть вода. Есть лужа.

Легенду рассказывали так: игуменья Алексеевского монастыря, которую выселяли из её обители, будто бы приковала себя цепями к старому дубу и прокляла это место. Будто бы сказала она государю Николаю Павловичу: «Государь, получишь здесь лужу». И будто бы эта

лужа и наступила — через сто с лишним лет, когда на месте храма Христа Спасителя открыли бассейн «Москва».

Документально этой легенды не существует. Ни игуменья, ни дуб, ни цепи, ни проклятие не подтверждаются ни одним источником. Легенда появилась, скорее всего, много позже — уже в наши дни, когда бассейн «Москва» стал связываться с разрушенным храмом Христа Спасителя. Тогда и понадобилось её придумать — для того, чтобы объяснить, почему всё так вышло.

Легенда не была правдой. Но она была правдива. В ней было не то, что было на самом деле, а то, что — по внутреннему счёту жизни — должно было быть. Дворец, который должен был стоять тысячу лет, не пережил тридцати. Бассейн, который построили вместо дворца, простоял тридцать четыре года — с пятьдесят восьмого по девяносто четвёртый. Бассейн пережил дворец. И в этом была своя справедливость.

И ещё одно важное последствие было у этой лужи.

Если бы в тридцатых — сороковых годах на месте храма Христа Спасителя построили что-нибудь настоящее, большое, капитальное, — Дворец Советов, гостиницу, административное здание, — восстановить храм на его историческом месте в девяностые годы было бы невозможно. Никто бы не снёс новое здание, чтобы вернуть старое. Памятников архитектуры в Москве восстановлено не так много, потому что под ними нет свободного места. Здание, стоящее в центре, не сносят ради здания, которое когда-то стояло здесь же. Такова реальность.

Но на месте храма Христа Спасителя было свободное место. Вместо храма стояла пустота. Вместо Дворца Советов стоял фундамент. А на фундаменте стоял бассейн. Бассейн — это не здание. Бассейн можно разобрать, вынуть, убрать, вывести. Бассейн — это временная чаша с водой. И когда эта чаша стала не нужна, на её месте оказалось возможно построить что угодно.

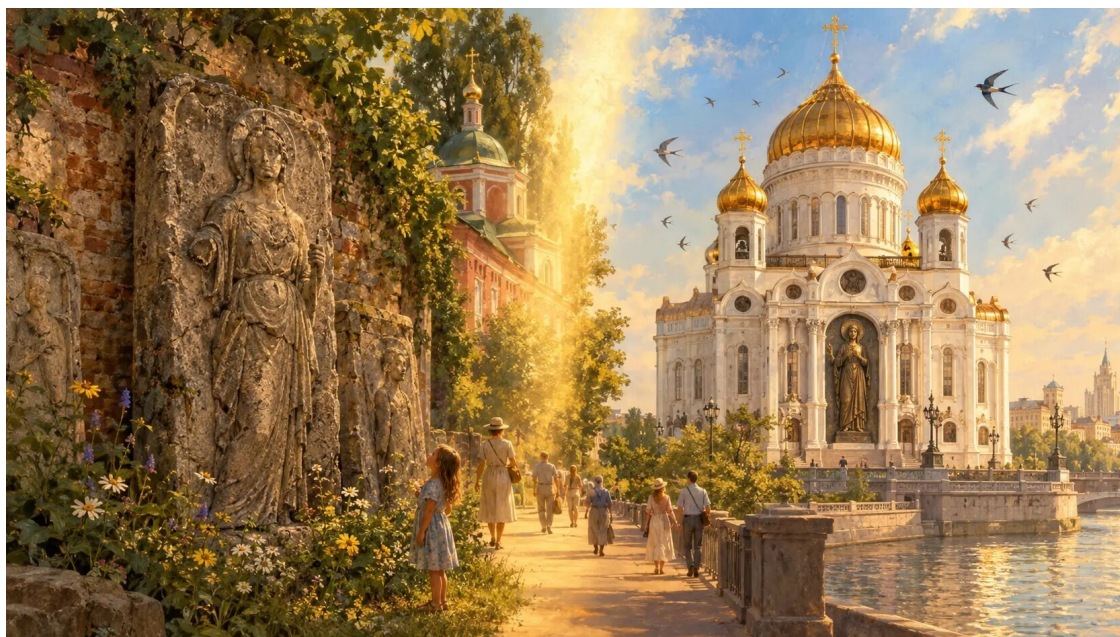
Лужа спасла место. Не храм — место храма. Если бы Дворец Советов был построен до конца, если бы на этом месте стояло здание весом в миллион тонн, храм Христа Спасителя никогда бы не вернулся на своё место. Он остался бы только в метро, в парке Горького, в гостинице «Москва», в МГУ, в Донском монастыре, в Третьяковке. Он был бы везде — но не здесь.

Бассейн «Москва» простоял долго. Дольше, чем храм Христа Спасителя после его освящения. Дольше, чем планировали строители Дворца Советов. Дольше, чем живёт в исторической памяти большинство зданий. Бассейн стал частью Москвы. Он вошёл в фотографии, в фильмы, в песни, в воспоминания нескольких поколений москвичей. Для многих людей, выросших в Москве в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, лужа на месте храма Христа Спасителя — это самое живое воспоминание их детства.

И в этой луже не было ни проклятья, ни святости. В ней была просто вода. Мальчики прыгали с вышек. Девочки загорали на бортиках. Старшие учились плавать по-собачьи. Зимой дымился пар. Летом стоял шум.

И вот наступили девяностые.

Эпилог. Возвращение



Конец восьмидесятых. Страна менялась. В стране говорили о том, о чём никогда не говорили раньше. Открывались храмы. Возвращались иконы. Вспоминались имена. Шла перестройка, затем — реформа, затем — то, что будет называться одним словом, которое тогда ещё не придумали, но которое потом прикрепится ко всему десятилетию.

И в этой новой атмосфере заговорили о храме Христа Спасителя. Заговорили сначала тихо, потом громче, потом совсем громко. Появилось движение за восстановление. Во главе его встали люди, для которых храм был не просто зданием. Писатель Владимир Солоухин, публицист Владимир Крупин, писатель Валентин Распутин, композитор Георгий Свиридов. Люди русской культуры, для которых храм Христа Спасителя был живым символом России, символом того, что было утрачено и что должно быть возвращено.

Начались публичные выступления, статьи, письма. Начались сборы подписей. Началась всенародная кампания, каких в нашей стране не было со времён постройки самого храма. Снова, как в 1812 году, как в 1839-м, начали собирать деньги. Снова по всей стране, снова по кружкам, снова по церковным приходам. Снова от купцов и рабочих, от интеллигенции и от крестьян, от детей и от стариков. Россия собирала деньги на храм Христа Спасителя ещё раз. Как в двенадцатом году.

В феврале девяностого года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение храма. Это было официальное решение Церкви. О нём объявили публично.

Однако на пути к строительству было много препятствий. В начале девяностых шла борьба за то, каким должен быть новый храм. Предлагали разные проекты, разные места, разные сроки. Бассейн «Москва» был ещё открыт и работал. Люди продолжали в нём купаться, а над бассейном шли споры о том, быть ли здесь храму или быть чему-то другому.

И только в девяносто четвёртом году строители вошли на площадку.

Бассейн «Москва» был закрыт. Воду спустили. Строительные машины начали разбирать чашу и вынимать её из земли. Работа шла месяца два. Постепенно там, где десять лет назад плескались дети, осталась вырытая яма. А на дне ямы — фундамент Дворца Советов, который когда-то начали строить и не смогли.

Фундамент разобрали. На его месте начали закладывать основание нового храма. Новый храм было решено строить по проекту, близкому к тому, что когда-то сделал Тон. Это не была копия — размеры чуть отличались, инженерные решения были современные, под храмом должен был быть огромный подземный ярус для церковных нужд. Но общий облик был тот же. Те же очертания. Те же золотые купола. Тот же силуэт, каким он был до тридцать первого года.

Апрель девяносто шестого года. На главы нового храма поднялись кресты. Работали кранами, по-современному, но поднимали их вручную благословлённые священники, и вокруг стояли люди. Кресты шли на купола, купола золотились, и над Москвой — над той самой Москвой, где сорок пять лет назад стоял бассейн, а шестьдесят лет назад — пустота, а сто лет назад — храм, — вновь поднялись золотые главы.

Осенью девяносто шестого на колокольне нового храма зазвонили колокола. Их отливали на заводе имени Лихачёва — на ЗИЛе, том самом заводе, который был когда-то символом советской индустрии. Колокола на заводе имени Лихачёва отливали с трудом, потому что тут не было опыта такой работы. Но отлили. Подобрали специальную технологию, нашли мастеров, привезли консультантов. И вот колокола зазвонили над Москвой.

За четыре года — с девяносто шестого по двухтысячный — был возведён храм. От закладки фундамента в девяносто четвёртом до освящения в двухтысячном прошло шесть лет. Первый храм строили сорок четыре года. Второй построили за шесть. Первый от закладки до освящения прошёл семьдесят один год. Второй прошёл шесть.

Девятнадцатого августа двухтысячного года, в день Преображения Господня, патриарх Алексий Второй совершил великое освящение храма Христа Спасителя. Это было главное событие того дня, о котором объявили по всем каналам, во всех газетах, в интернете, который тогда только начинался, в новостях.

Храм был освящён. Он вернулся.

По размерам он был тот же — сто четыре метра, толщина стен три и два десятых метра, кафедральный собор. По статусу — тот же. По настоятельству — тот же: патриарх Московский и всея Руси является настоятелем храма Христа Спасителя. По внутреннему устройству — новый, современный, со свежим мрамором, с новой росписью, с новыми иконами, с огромным подземным ярусом, где разместились трапезные, воскресные школы, музей храма, залы для собраний.

Это был во многом другой храм. В нём не было подлинных росписей Сурикова, Крамского, Верещагина, Бруни, которые погибли вместе с храмом Тона. В нём не было подлинного иконостаса. В нём не было тех мемориальных плит с именами воинов двенадцатого года, что были когда-то здесь и осквернены в тридцать первом году. Всё это было сделано заново — современными мастерами, в новых условиях, по новым технологиям.

Но храм стоял на своём месте. И был похож на тот, прежний. И назывался так же. И был посвящён тому же.

И вот что важно. Он не вернулся целиком.

Часть его была в это время в других местах Москвы. Мрамор — в метро. Гранит — в первом этаже гостиницы «Москва». Колокол — на Северном речном вокзале. Колонны из алтаря — в главном здании МГУ на Воробьёвых горах. Горельефы — в Донском монастыре, повреждённые, с отбитыми руками и плечами. Скамьи — на «Новокузнецкой». Щебёнка с именами — в парке Горького, по дорожкам которого ходят люди.

Всё это не вернулось на своё историческое место. Да и не могло вернуться. Мрамор метро нельзя вынуть из стен, потому что тогда рухнет метро. Колокол нельзя снять с крыши вокзала, потому что тогда вокзал потеряет свой голос. Щебёнку нельзя разобрать обратно на плиты, потому что она — уже не плиты. Храм вернулся в Москву — но не весь. Каждый кусок его был в своём месте. И в каждом из этих кусков храм продолжал жить. Не как целое, а как рассеянное.

Но было и исключение.

В девяностых годах в Третьяковской галерее шёл капитальный ремонт. Лаврушинский переулок был закрыт, здание приводили в порядок, меняли коммуникации, перестраивали внутренние пространства. Дошли и до гардероба. Лестницу перед гардеробом, ту самую лестницу, которую сделали в тридцать первом году из мраморных ступеней храма Христа Спасителя, стали менять. Старые ступени снимали, ставили новые.

Ступени снимали по одной. Сначала снимали верхние, потом нижние, потом совсем нижние. И когда сняли, увидели. На торцах у каждой ступени — вырезанные буквы. Имена. Некоторые имена были видны плохо, стёрлись от времени, но другие читались. И тогда рабочие, реставраторы и все, кто был рядом, поняли, что у них в руках.

Это были ступени из храма. Настоящие ступени из настоящего храма Христа Спасителя. Те, по которым в восемьдесят третьем году шли люди на освящение — император, митрополиты, ветераны двенадцатого года. Те, по которым семьдесят лет — с освящения до взрыва — ходили москвичи. Те, по которым с тридцать первого года по девяностые — шестьдесят лет — ходили посетители Третьяковской галереи и не знали, по чему именно они ходят.

Эти ступени сохранили. Их не выбросили. Их не разбили. Их не отправили на свалку строительного мусора. Их бережно сняли с лестницы и перенесли в музей храма Христа Спасителя — в тот самый новый подземный музей, что расположен под главным собором страны. Теперь эти ступени стоят в музее, как экспонаты. Каждый день к ним подходят туристы, посетители, экскурсанты. На каждой ступени — по краю — вырезано имя героя Отечественной войны двенадцатого года.

Это не просто ступени. Это имена. Те самые имена, которые в тридцать первом году должны были исчезнуть, которые в тридцать первом году дробили, растворяли, разбрасывали по дорожкам парков, — вернулись. Они вернулись в музей храма Христа Спасителя. По ним больше никто не ходит. К ним только подходят. И читают.

Не все ступени уцелели. Часть их пропала, часть была испорчена, часть не удалось отыскать. Но те, что сохранились, — сохранились полностью. Имена героев двенадцатого года, вырезанные в мраморе, вернулись к людям.

Это, пожалуй, самое важное во всём возвращении храма.

Храм Христа Спасителя был построен для того, чтобы помнить. Его мемориальные плиты в каменной книге имён были смыслом всего его существования. Когда плиты раздробили в щебёнку, этот смысл был уничтожен. Казалось, что память стёрта полностью. Но память вернулась — в виде ступеней, которые выстояли. В виде имён, которые снова можно прочесть. В виде людей, которые снова хотят их прочитать.

Вот почему храм Христа Спасителя не просто восстановлен. Он вернулся к своему исходному смыслу. Смыслу храма-памяти. Храма, где имена воинов двенадцатого года снова на виду. Храма, где снова молятся за тех, кто не вернулся. Храма, который снова стоит на своём месте и снова делает то, для чего он когда-то был задуман.

Через тридцать лет после разрушения храм вернулся. Через двести лет после манифеста об его основании — храм стоит. Он стоит в центре Москвы, у Каменного моста, у самого берега реки, там же, где стоял всегда. Он снова кафедральный собор. Он снова патриарший. Он снова посвящён Христу Спасителю. Он снова стоит над Москвой и внутри Москвы.

И каждый из тех, кто идёт сегодня по «Кропоткинской» — по вестибюлю, облицованному мрамором храма, — идёт через этот храм. Каждый, кто сидит на скамье на «Новокузнецкой», сидит в этом храме. Каждый, кто проходит по первому этажу гостиницы «Москва», проходит через этот храм. Каждый, кто сходит с асфальта на гравийную дорожку парка Горького, ступает на этот храм. Каждый, кто поднимается по лестнице главного здания МГУ, поднимается по этому храму. Каждый, кто останавливается перед горельефами в Донском монастыре, останавливается перед этим храмом.

Говорили, что камни храма замолчали. Ничего подобного. Камни храма говорят. Только говорить они умеют не голосом, а местом, где лежат. Камни на «Кропоткинской» говорят: был храм. Скамьи на «Новокузнецкой» говорят: в этом храме сидели люди. Ступени Третьяковки, перенесённые в музей, говорят: вот имена. Те самые имена.

Вы заставили говорить камни — сказал когда-то Александр Первый Витбергу, гляд

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.